



К. Д. КАВЕЛИН

Письмо Ф. М. Достоевскому

М. Г.,

Ваша восторженная речь в Москве по случаю открытия памятника Пушкину¹ произвела потрясающее впечатление в слушателях самых разнообразных лагерей, на которые теперь дробится русская мысль. Полемика, возникшая по этому поводу между вами и профессором Градовским² сильно заинтересовала публику, и номер «Дневника писателя», посвященный этому спору, вышел уже вторым изданием. Все это доказывает, что вопросы, которых вы коснулись с вашим необычайным талантом, всегдашнюю искренностью и глубоким убеждением, назрели в умах и сердцах мыслящих людей в России и живо их затрогивают. Этому можно только радоваться, как признаку оживления, после многих годов нездорового, летаргического равнодушия к высшим человеческим интересам. Что мы такое? Куда идем? Куда должны идти? — эти русские национальные вопросы, сами по себе близкие всем нам, возвышаются на степень общечеловеческих в том виде, как они поставлены в вашем споре с профессором Градовским и ставятся у нас чуть ли не всеми мыслящими людьми. Что важнее и существеннее, что должно быть поставлено на первый план: личное ли нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, посреди которых человек живет в обществе? Одни говорят: стремитесь к внутренней, душевной, нравственной правде, полюбите ее всеми силами души, и сама собою сложится образцовая общественная жизнь; другие возражают: выработайте общественную жизнь, общественные условия до возможного совершенства, и отдельные лица станут сами

собой, естественно, направляться на путь добра, нравственного развития и совершенствования.

К этому основному вопросу сводятся в конце концов учения славянофилов и западников и то, что думается, говорится и пишется теперь. Славянофилы выставили своим знаменем первое из двух приведенных решений вопроса, отождествив его с существенным смыслом греко-восточного христианства и славянского народного гения; а так называемые западники так же рельефно и сильно выдвинули и поставили второе решение, связав его неразрывно с существенным значением петровской реформы и западноевропейской культуры. Как ни разветвлялись славянофильское и западное воззрения, как ни видоизменялись и не сближались они некоторыми своими ветвями, все-таки основной тон их различия, обозначенный выше, удержался и до сих пор. Лучшие люди того и другого лагеря признавали и признают, что противники, до известной степени, правы; но никогда ни те, ни другие не соглашались признать их правыми в принципе, составляющем для тех и других исходную точку мирозерцания. Взаимные уступки делались и делаются крайне осторожно, с важными оговорками и тотчас же берутся назад, когда из них может возникнуть хоть бы малейшее сомнение относительно существенного разномыслия в основном и главном.

Вот в чем, как мне кажется, заключается чрезвычайная важность спора, поднятого между вами и проф. Градовским, и вот почему особенно желательно, чтоб он когда-нибудь был доведен до конца. Речь идет о принципах, глубоко коренящихся в жизни и сознании. Борьба этих принципов не при нас началась и едва ли при нас окончится. В ней принимали живое участие в продолжение тысячелетий самые глубокие и светлые умы.

Меня этот вопрос живо занимал в последние годы; я часто и много о нем думал, и все меня невольно к нему возвращало. Поэтому, надеюсь, бы найдете естественным, что я вступаю в ваш спор, так сказать, сбоку припеку, незванный-непрошенный. Уж, конечно, не решать его я считаю себя призванным, а только помочь его выяснить и поставить правильно. Это везде и всегда главное, особливо у нас, при невообразимой путанице наших понятий, мешающей даже двум человекам столкнуться между собою.

Вы произнесли слово: примирение партий³. Да, кончить личные счеты, прекратить литературные турниры, вертящиеся

на остроумии, оставить дрянные, плоские и пошлые взаимные обвинения — пора, давно пора! Пора спокойно, отбросив личности и взаимное раздражение, откровенно и прямо объясниться по всем пунктам. Но примирение в смысле соглашения — это другое дело! Вы, человек вполне искренний, конечно, не можете, говоря о примирении, разуметь под ним дипломатическую сделку, вооруженный мир. Дурной мир хорош, лучше доброй брани в делах практических, ибо действительная жизнь есть непрерывный ряд сделок, полуискренних, полулукавых, с задними мыслями; но в вопросах науки, веры, убеждения добрая брань до настоящего, честного мира — куда лучше! А такой мир еще очень далеко впереди. Бог весть, когда он наступит! Наши русские споры отравлены при самом их начале тем, что мы редко спорим против того, что человек говорит, а почти всегда против того, что он при этом думает, против его предполагаемых намерений и задних мыслей. Так мы и встречаемся друг с другом, так и в дела между собою вступаем: вечно мы настороже, вечно у нас камень за пазухой. Оттого наши споры почти всегда переходят в личности, наши деловые отношения так неопределенны и неточны, беспрестанно подают повод к тяжбам и процессам. Объективный смысл слов и вещей в наших глазах имеет мало значения; мы всегда залезаем человеку в душу. И вы не остались чужды этой нашей общей слабости, вложив в уста западников размышления, которые серьезному человеку не могут прийти в голову, а разве какому-нибудь шалопаю⁴.

Освободим хоть мы с вами наши разногласия от этого негодного придатка. Мы сами от этого много выиграем, и наши читатели, конечно, будут нам за это очень благодарны.

I

Начну с рассмотрения вашего взгляда на взаимные отношения у нас простого народа и образованных слоев общества, так как в нем резко и наглядно выражается характерная черта славянофильских учений. Подобно славянофилам сороковых годов, вы видите живое воплощение возвышеннейших нравственных идей в духовных качествах и совершенствах русского народа, именно крестьянства, которое осталось непричастным отступничеству от народного духа, запятнавшему будто бы высшие, интеллигентные слои русского общества.

Полемика, которая когда-то велась об этих тезисах между славянофилами и западниками с горячностью, подчас с ожесточением, мне кажется, уже принадлежит прошедшему. Чтоб понять теперь ее живой, действительный смысл, надо обратиться к истории нашей культуры и поднимать архивы. Скажите теперь человеку, не посвященному в борьбу наших партий, что русский народ — образец нравственного совершенства: он с изумлением вытаращит на вас глаза и начнет по пальцам пересчитывать вам такие явления из жизни русского народа, от которых мороз подирает по коже. Скажите образованному человеку, который слышал только о славянофилах, но не знает их доктрин, что он изменник русским народным началам, отщепенец от родной земли, он или обидится, или подумает про себя, что у вас голова не в порядке. Что русское крестьянство далеко не есть образец совершенства, что люди, принадлежащие к образованным классам нашего общества, такие же преданные сыны своей родины, как и народные массы, это знают все и каждый, и об этом нет и не может быть теперь никакого спора. Если об этом когда-то иначе думалось, говорилось и писалось, на то были свои причины, теперь забытые, о которых надо вспомнить, чтоб понять суть ваших взглядов.

Все люди и все народы в мире учились и учатся у других людей и у других народов, и не только в детстве и юности, но и в зрелые годы. Разница в том, что в детстве и юности и люди, и народы больше перенимают у других; а достигнув совершеннолетия, они пользуются чужим опытом, чужим знанием, с рассуждением, разбором, критикой; в детстве и юности люди и народы, перенимая, подражают, стараются сделаться точно такими, как те, кто им служит образцом; а перейдя в совершеннолетие, они уже чувствуют себя и, стараясь совершенствоваться, усваивают себе чужое, не думая подражать и стать теми, от кого пользуются опытом и знаниями.

То же самое было и с нами. Учились мы у всего мира, с кем только не были в сношениях, чуть ли не у всех восточных народов, у византийских греков, у западных и северных соседей; но об этом мы как-то забыли и вспомнили позднее, недавно. Особенно сильно и наспех стали мы учиться у западноевропейских народов. Нужда нас к тому принудила; а страстный характер Петра придал нашему учению чрезвычайную стремительность. Гениальный государь хотел сделать в четверть столетия то, что делается веками! Время этого ученья мы хорошо помним, потому

что уже начали тогда себя чувствовать. Утверждали, что Петр и его сподвижники, не разбирая, переделывали нас в европейцев; но это совершенная неправда: и он, и они были русские люди с головы до пяток, горячо любили родину и в позаимствованиях из Европы видели и искали только пользы для своей страны, не думая подчинять ее материально или нравственно европейским народам.

Но с Петром и его делом случилось то же, что всегда почти естественно случается со всеми великими учениями и великими делами: основная мысль расплывается в применениях и подробностях и мало-помалу забывается, а они выдвигаются на первый план, становятся главным, существенным делом. Когда таким образом способы исполнения заступают место основной идеи, мертвая схема, шаблон, рутинная заменяют живое и осмысленное отношение к предмету. Редко когда новый шаг или поворот в личной и народной жизни не проходит чрез такие превратности. Дело Петра, в неумелых и неталантливых руках преемников его власти, а не его гения; быстро перешло в рутину и шаблон. Позаимствования из Европы, которые, по основной мысли, предназначены были ассимилироваться на русской почве, окаменели; европеизм, долженствовавший по плану Петра служить для русской жизни подспорьем, вырос в самостоятельного фактора и стал жить на русской почве своею, хотя и искусственною, жизнью⁵. Классы, издавна господствовавшие у нас над народною массою, по своему общественному положению первые пропитались европейскими элементами и нашли в их образовательной роли как бы оправдание и освящение своей политической и общественной роли и господства над необразованными людьми. Таким-то образом европеизм, орудие образования, по мысли Петра и государственных деятелей его школы, превратился в орудие угнетения и отворил настежь двери в Россию всевозможным европейским авантюристам и проходимцам, которые, под мантией европейского просвещения, обделывали свои дела или служили интересам, чуждым или враждебным интересам страны.

По мере того, как Россия росла и складывалась, противоположенная и антинациональная в ней роль европеизма, в том виде, как он определился у нас после Петра, стала чувствоваться мало-помалу все сильнее и сильнее. Лучшие умы, вдумываясь в положение и стараясь объяснить себе причины застоя и гнета, под которыми томилась русская жизнь, пришли к двум заключени-

ям: по мнению одних, ненормальное ее состояние произошло от того, что образовательное движение, начатое Петром при помощи европейских влияний, остановилось и выродилось в гнетущую, заскорузлую формалистику, сохранившую только обманчивый внешний вид европеизма; что живительный европейский дух, великие общечеловеческие европейские идеи испарились, отлетели из этих мертвых форм. Поэтому, думали они, надо открыть этим идеям свободный приток в Россию и тем поднять русскую жизнь, изнемогающую под тяжким бременем мертвящих, окостенелых форм, давно отживших свой век и уже отброшенных в самой Европе. По мнению других, застой и мертвенность русской жизни происходили оттого, что русский ум был озадачен, сбит с толку насильственной реформой Петра, отчего все европейское, дурное и хорошее, стало для нас предметом подобострастного, почти суеверного и рабского благоговения. Надо, думали эти люди, возвратить русскому уму бодрость, самостоятельность и самодеятельность: тогда он станет тем, что он есть по своей природе, выкажет все сокровища русского национального гения, которые теперь таятся под спудом, из ложного самоуничижения перед Европой.

Таковы были два течения русской мысли, из которых потом образовались две так называемые партии — в сущности, вовсе не партии — западников и славянофилов. Давно уже, и совершенно справедливо, замечено, что оба эти направления, более ярко обрисовавшиеся в сороковых годах, выросли на одной почве. Оттого они сначала мирно жили одно подле другого. Оба свидетельствовали о недовольстве теми условиями, среди которых бесцветно влачилась печальная русская жизнь, окруженная снаружи невиданным дотоле ореолом политического и международного величия, блеска и могущества. Упрек, будто бы западники были отщепенцами от своей страны, совершенно несправедлив; напротив, они были глубоко преданные своей родине русские люди, горячо ее любившие, мечтавшие о ее светлом, великом будущем — не меньше славянофилов. Призывали они своими желаниями не Европу, а европейские идеи, на которые смотрели как на общечеловеческие. Подобно вам, они высоко ценили чрезвычайную отзывчивость русского народа, и в этом видели залог его великих исторических судеб; их пленяла именно та его всечеловечность, которая пленяет и вас. Сначала у западников не было ни малейшей вражды к славянофилам, да и не было к. тому никакого повода: оба направления одинаково

отрицательно относились к нашему псевдоевропеизму и, в сущности, сходились в своих требованиях, только формулируя их различно. Западники желали видеть общечеловеческие идеалы осуществленными в России; славянофилы желали, чтоб общечеловеческие идеалы не были России навязаны, а были осуществлены свободным почином, свободною деятельностью русского народа. Оба взгляда пополняли друг друга. Но прежде, чем они это поняли, прежде, чем состоялось между ними то сближение, которое лет двадцать тому назад стало совершившимся фактом⁶, вражда их разделила на два противоположные лагеря.

История этого раскола русской мысли весьма интересна, представляя степень развития, на которой мы стояли в то время, когда он начался, и ход развития русской мысли и русского самосознания.

Если застои и мертвенность русской жизни происходили оттого, что нас давил псевдоевропеизм и отжившие, окостенелые европейские формы, то это доказывало, что предыдущая наша жизнь не имела достаточно упругости и твердости, чтоб противустоять их водворению или, приняв их, переработать сообразно с своим народным гением, другими словами, что мы еще не вступали в период совершеннолетия; а то, что мы начинали тяготиться псевдоевропеизмом и нашею бездеятельностью, нашим застоем, служило несомненным признаком пробуждения русского народного гения и самодеятельности. Следовательно, вопрос ставился самую русскою жизнью следующим образом: период школьного учения и перениманья кончился; пора было начать жить своим умом, критически отнестись к себе и другим, думать и действовать не иначе как после строгой проверки своих и чужих мыслей и дел. Такой взгляд показывал, что мы не имеем у себя в прошедшем таких выработанных, определенных форм мысли и жизни, которые могли бы нам служить основанием и опорой для дальнейшей работы; но он же исключал возможность осуществить у нас общечеловеческие идеалы иначе как в формах национальных, нам свойственных и нами из себя выработанных; иначе сказать, что общечеловеческие идеалы могут быть только продуктом самодеятельности народного гения, результатом народной жизни, что их нельзя переносить и пересаживать из одной страны в другую.

Когда русская жизнь и мысль начали пробуждаться, мы все это понимали крайне смутно и сбивчиво, вследствие чего развитие пошло у нас с разными обходами и колебаниями.

Долго мы смешивали и теперь еще часто смешиваем общечеловеческое с европейским, последнее принимаем за первое. Это была, без сомнения, слабая сторона западников. Славянофилы впали в другую ошибку. Поставя требование самостоятельного национального развития, в чем и заключалась их главная заслуга, они стали пытаться определить, в чем же состоят основные черты русского национального характера, долженствующие служить исходной точкой для дальнейшей деятельности русского народа, нравственной и общественной. Но отыскать эти черты было то же, что найти квадратуру круга. Псевдоевропеизм именно потому у нас и водворился и получил права гражданства, что наш национальный характер еще не сложился и не обозначился в ясно определенных чертах; только жизнь и самодеятельность вырабатывают характер и особенности и лица, и народности; но мы до последнего времени были в ученье то у одних, то у других народов, своим умом не жили и потому не могли выработаться в самостоятельную национальную личность. Почему же было узнать основные, характерные черты русского народного гения? Прошедшее, история представляли лишь факты ученической, школьной жизни; она могла передать одни ясные следы влияний наставников и учителей, и едва намеченные, не установившиеся и потому неуловимые черты национального характера и гения. За невозможностью узнать, пришлось сочинять. Это была такая же ошибка со стороны славянофилов, как со стороны западников смешение общечеловеческого с европейским.

Логика фактов, играющая роль древней судьбы в истории новых народов, опровергла оба эти направления. Ни чистых славянофилов, ни чистых западников больше нет: и те, и другие сошли со сцены. Продолжая противуполагать их взгляды, вы, мне кажется, поднимаете старый спор, уже решенный ходом русской жизни и развитием русской мысли. Разве вы настоящий славянофил? И разве те, против кого вы полемизируете, настоящие западники? Вы сами выгораживаете лучших из них; кто же затем остается? Примирение двух направлений, о котором вы мечтаете, уже совершилось, молча, двадцать лет тому назад, когда славянофилы и западники подали друг другу руки при освобождении крепостных.

С тех пор мы вступили в новый период развития. Теперь вопросы ставятся совсем иначе, чем прежде; название славянофилов и западников вовсе не идет к новым направлениям русской мысли.

Предоставьте твердить зады посредственности и фразерам! Ведь их вы не урезоните, и не для них же вы и пишете.

Между мыслящими и серьезными русскими людьми вы теперь не найдете ни одного, который бы из теоретических предрассудков смотрел свысока на наши народные массы или думал, что Россия есть лист белой бумаги, на котором можно написать все что угодно. Всякий очень хорошо понимает, что как отдельные лица, так и нации имеют свой характер, свои особенности, свою физиономию, физическую и духовную, которых нельзя переделать и с которыми необходимо сообразоваться, рассуждая о дальнейшей судьбе людей и народов и о том, что для них желательно и полезно в настоящем. С другой стороны, точно так же нет ни одного мыслящего и серьезного русского человека, который бы не понимал, что новых условий, созданных в России с начала XVIII века, нельзя вычеркнуть из нашей истории; что как бы мы любовно ни смотрели на народные массы, нельзя признать их - в том виде, в каком они теперь существуют, идеалом совершенства. Прислушиваясь к тому, что теперь думается и говорится, не трудно подметить два различных направления русской теоретической мысли, на которые было мною указано в самом начале. Одно, основываясь на воспитательном характере общественных учреждений, ждет всего хорошего только от их перестройки, в полном убеждении, что хорошие учреждения перевоспитают людей и разовьют в них те качества и свойства, которые необходимы для благоустроенного общежития и которых нам, к сожалению, пока недостает в значительной степени. Другое направление, исходя из той же нашей неустроенности, не признает всемогущества учреждений, и, усматривая источник всего зла в нашем нравственном состоянии, действительно крайне незавидном, указывает, помимо учреждений, на разные средства для поднятия у нас нравственности. Многие видят в этих двух направлениях продолжение двух прежних. По-видимому, вы тоже разделяете это мнение. На самом деле, едва ли это так. Новая постановка вопроса есть несомненно шаг вперед русской мысли. Он мог быть сделан, очевидно; только после, разъяснения многих недоразумений между западниками и славянофилами, возбуждавших между ними когда-то ожесточенные споры на словах и отчасти в печати. Но нельзя также отрицать сродства и, до некоторой степени, преемства между прежними и новыми взглядами на русскую жизнь и ее задачи.

Вера во всемогущество учреждений невольно напоминает точку зрения Петра и поборников его дела на русской почве, какими, без сомнения, были западники; а указания на нравственное возрождение как на единственное средство обновления сближает поборников этого взгляда со славянофилами. Это сродство выступит еще ярче, если припомним, что подкладкой общественных идеалов все еще служат у нас обыкновенно европейские образцы, а нравственные идеалы переносятся почти целиком из программы славянофилов. Несмотря на такие сближения, не следует забывать и существенной разницы между прежними и новыми направлениями русской мысли. Взгляды славянофилов и западников были первыми, еще незрелыми попытками самостоятельной критики; новые направления переносят русские вопросы на чисто теоретическую почву, и тем придают им общечеловеческое значение.

Казалось бы, две струи русской мысли, обозначающие в настоящее время, тоже не должны исключать одна другую, а взаимно дополнять. Оба направления ее, собственно говоря, предлагают не два различных решения одной задачи, а два средства для устранения двух различных сторон одного и того же зла. Но, судя по некоторым признакам, дело не обойдется без нового раскола и новой борьбы, подобной той, какую вели между собою западники и славянофилы. Поводы к этому с той и другой стороны есть, и весьма основательные.

С давних пор для меня стало выясняться, что коренное зло европейских обществ, не исключая и нашего, заключается в недостаточном развитии и выработке внутренней, нравственной и душевной стороны людей. Это зло действует тем сильнее, что оно как-то мало замечается, что на его устранение почти не обращено никакого внимания. В практической жизни твердо водворилось убеждение, что недостаток личной нравственной выработки может быть вполне заменен хорошим законодательством, судом, администрацией; в науке вопрос о нравственности заброшен, она в наше время не имеет правильного научного основания и остается при старых, заржавелых, рутинных теориях, которым никто больше не верит, которые в глазах современных людей не пользуются ни малейшим авторитетом; в воспитании нравственная выработка играет самую печальную роль и заменяется дрессировкой людей для общества, в чем и полагается вся суть нравственности.

Сознаюсь, что для меня одной из самых симпатичных сторон славянофильских учений всегда представлялось именно то, что они выдвинули на первый план вопрос о внутренней, душевной, нравственной правде, о нравственной красоте, забытой и пренебреженной. Может быть, я увлекаюсь золотой мечтой, но мне думается, что новое слово, которого многие ожидают, будет заключаться в новой правильной постановке вопроса о нравственности в науке, воспитании и практической жизни и что это живительное слово скажем именно — мы. Смутные чаяния молодых русских умов и сердец бродят около этого вопроса, жадно прислушиваясь ко всему, в чем надеются найти на него ответ. С этим же вопросом соединяются, в самых неопределенных сочетаниях, и неясные представления о будущем значении русского и славянского племени в судьбах мира. Громадный успех вашей речи о Пушкине объясняется, главным образом, тем, что вы в ней касаетесь этой сильно звучащей струны, что в вашей речи нравственная красота и правда отождествлены с русскою народною психеей.

Почему же именно этот вопрос стоит на очереди и стучится во все двери разом, откуда чаяние и надежда, что именно нам, а не другому народу, может быть, выпадет на долю если не разрешить, то хоть по крайней мере разрешать его, — над этим я здесь останавливаться не стану, потому что пришлось бы говорить много и долго, а мне не хочется отвлекаться от того, что я имею вам сказать.

Теперь, пока, для нас, добровольцев русской мысли, самое важное и главное — поставить вопрос о нравственной правде прочно, твердо, сильно, так, чтоб она и ее необходимость стали для всякого очевидными и несомненными, чтоб нельзя было от них ни отмолчаться, ни отыгаться общими местами и высокопарными фразами. Проповедь будет полезна, необходима потом; пока время ее еще не наступило. Теперь надо сперва выработать вопрос в лаборатории строгой и точной науки, надо силою доводов, аргументами современного знания, поставить людей лицом к лицу с нравственной правдой и показать, что все пути неизбежно ведут к ней, что от нее им некуда уйти, что ее миновать или обойти нет никакой возможности.

С жадностью набросился я на вашу полемику с проф. Градовским, в надежде найти в ней хоть намек на это необходимое предисловие к новому слову; но ничего подобного не нашел. Все

та же старая аргументация славянофилов, которая едва ли кого удовлетворит теперь. Живи корифеи славянофильства в наше время, после всего того, что мы пережили, они, я убежден, выставили бы новые доводы в защиту темы, на которую указали. Теперь формула, которую они ей дали, оказывается неправильной, слабо обставленной, а вы к ней ничего не прибавили, даже не пытаетесь ее исправить.

Подобно славянофилам сороковых годов, вы ссылаетесь на высокие, несравненные нравственные качества русского народа. Когда славянофилы впервые заговорили об этом, это было действительно и ново, и живительно. Русская интеллигенция раболепно относилась к Европе и всему европейскому; национальное самосознание находилось в состоянии полудремоты; мы только чувствовали свою физическую силу и ею гордились, едва подозревая, как мало она значит, когда не опирается на силы умственные и нравственные. С тех пор в русском обществе и в русской интеллигенции произошла огромная перемена. Куда девался так называемый «квасной» патриотизм и вера в медвежью силу? Рабское поклонение перед Европой не сменилось ли в наше время небывалым подъемом национального чувства, которое даже перепадает в чрезмерную щекотливость, самоуверенность и задор?⁷ Не нужно быть западником, чтоб подчас краснеть от выходок, в которых они высказываются. Чистые идеалисты, какими были московские славянофилы, конечно, строго бы их осудили. Перед этими людьми носились совсем другие идеалы национального чувства.

В увлечении духовными сокровищами русского народного гения, вы говорите: «наша нищая неурядная, земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь, как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть»⁸.

Предоставляю этнографам и статистикам сбавить эту цифру на двадцать или на двадцать пять миллионов; между остальными пятидесятые пятью или шестидесятью действительно поразительное единение, но какое? Племенное, церковное, государственное, языка — да; что касается духовного, в смысле нравственного, сознательного, — об этом можно спорить! Перед нами пока только громадного значения факт, которого внутренний, духовный смысл мы определить не в состоянии: он весь в будущем; напрасно стали бы мы искать его в прошедшем или настоящем.

II

Такие же серьезные недоразумения вызывает и ваш взгляд на нравственные качества русского простого народа, их значение и причины.

Подобно славянофилам сороковых годов, вы считаете наши народные качества дознанным, несомненным фактом и приписываете их тому, что наш народ проникся православною верою и глубоко носит ее в своем сердце.

Прежде всего замечу, что приписывать целому народу нравственные качества, особливо принадлежа к нему по рождению, воспитанию, всею жизнью и всеми симпатиями, — едва ли можно. Какой же народ не считает себя самым лучшим, самым нравственным в мире? С другой стороны, став раз на такую точку зрения, можно, вопреки истине и здравому смыслу, признать целые народы безнравственными, даже преимущественно наклонными к безнравственным поступкам известного рода, как это высказывалось и высказывается.

Вы будете превозносить простоту, кротость, смирение, незлобливость, сердечную доброту русского народа; а другой, не с меньшим основанием, укажет на его наклонность к воровству, обманам, плутовству, пьянству, на дикое и безобразное отношение к женщине; вам приведут множество примеров свирепой жестокости и бесчеловечия. Кто же прав: те ли, которые превозносят нравственные качества русского народа до небес, или те, которые смешивают его с грязью? Каждому не раз случалось останавливаться в раздумье перед этим вопросом. Да он и неразрешим! Рассуждая о нравственности и безнравственности, мы обращаем внимание не на то, как народ относится к предмету своих верований и убеждений, а на то, что составляет их предмет; а это что есть всецело результат школы, которую прошел народ, влияний извне, словом — его истории, развития и культуры. Поэтому, чтоб правильно оценить народ, следует говорить не о его нравственных достоинствах или недостатках, которые могут изменяться, а о характеристических свойствах и особенностях его духовной природы, которые придают ему отличную от всех других физиономию и, несмотря на все превратности судьбы, удерживаются чрез всю его историю.

Есть ли такие характерные черты у русского народа? Несомненно есть, как у всякого, даже самого ничтожного племени,

осужденного историей на поглощение другою национальностью. Но если вы меня спросите, в чем он, по моему мнению, заключается, то я, к стыду моему и к великому соблазну для многих, не сумею дать вам ясного, точного, категорического ответа. Я не в состоянии уловить в духовной физиономии русского народа ни одной черты, которую мог бы с совершенной уверенностью признать за основную, типическую принадлежность его характера, а не известного его исторического возраста или обстоятельств и обстановки, в которых он жил и живет.

Что русский народ богато одарен от природы — это едва ли может подлежать какому-либо сомнению и признается даже нашими недоброжелателями и врагами. Но в чем именно состоит эта природная даровитость — вот что, мне кажется, ускользает от определения. Мне скажут: большая живость, подвижность, юркость и бойкость ума, способность трезво относиться ко всему, ширина размаха? Но эти признаки всякого даровитого народа в юности⁹. Разве древние греки не были точно такими же в свое время? Мы, говорят, страшные реалисты. На эту черту многие указывают как на основную в русском национальном характере; но пусть мне укажут народ, более русских способный увлекаться отвлеченными идеями, воздушными замками, иллюзиями, и утопиями всякого рода? Какие же мы реалисты! Мы пока просто живые юноши. Указывают также на нашу удивительную находчивость в самых разнообразных обстоятельствах, умение к ним приладиться, умение примениться к разным людям и народам. Но можно ли назвать эти свойства основными чертами национального характера? Стоит вспомнить о территории, на которой мы сидим, о народах и племенах, которые нас окружают, о многострадальных судьбах русского народа, чтоб тотчас же понять, откуда у него взялись эти черты. Если б он их в себе не выработал веками, то мы бы теперь с вами и не рассуждали о русском народе: его бы вовсе не существовало. Притом, в юности все выносятся и вытерпливается легче, бодрей, веселей, чем в сердовые года и в старости. Вы указываете, и совершенно справедливо, на необыкновенную отзывчивость русского народа, необыкновенную его способность «перевоплощения в гении чужих наций, перевоплощения почти совершенного»¹⁰. И эта несомненная и драгоценнейшая способность русского народа — увы! — не более как свойство чрезвычайно даровитого и умного, даже не юношеского, а младенческого народа: молодой человек,

даже юноша, как только сколько-нибудь сложился и имеет что-нибудь сказать свое и от себя, теряет мало-помалу эту способность. Словом, какую выдающуюся черту русского народа ни взять, все доказывают замечательную его даровитость и в то же время большую его юность — возраст, когда еще нельзя угадать, какая у талантливого юноши выработается духовная физиономия, когда он сложится и возмужает.

Эта-то неопределенность, невыясненность характера нашей духовной природы и заставляет меня с недоверием отнестись к вашей основной мысли, будто бы мы пропитаны христианским духом. Что многие из наших высоких нравственных качеств плод христианства — не подлежит сомнению. Через всю нашу историю тянутся густой вереницей, рассеянные по всему лицу русской земли, христианские подвижники, святые, отрeksiвшиеся от мира, удалившиеся в пустыню и посвятившие себя посту, молитве и религиозному созерцанию; между мирянами еще недавно можно было встретить в семьях, городах и крестьянских избах немало типов поразительной нравственной красоты, своим искренним благочестием, чистотою, простотою и кротостью переносивших мысль во времена апостольские. Всем, кто их знал, они памятны и никогда не забудутся. Но заметьте, что все они — и иноки, и миряне — чуждались мира, сторонились от него и уходили от волнующегося житейского моря в молитву и созерцание. Ежедневная, будничная, практическая жизнь шла своим порядком и едва ли согласовалась с учением Христа, когда благочестивые люди от нее удалялись и не хотели принимать в ней участия¹¹. Что-нибудь из двух: или исповедание Христова учения несовместимо с жизнью и деятельностью в миру; в таком случае, как же русский народ мог быть пропитан христианскими началами? — или, напротив, народам нет спасения, если они не проникнутся в своей публичной жизни и частном быту истинами христианства; но в таком случае, значит, наша ежедневная, будничная жизнь не была ими проникнута, если святые люди от нее удалялись в дебри, леса, пустыни и находили спасение лишь в отчуждении от мира.

Недоумения мои наводят на различное с вами объяснение многих явлений в русской жизни и русской истории. Самые благочестивые люди, самые горячие патриоты жалуются, что у нас обрядовая сторона слишком преобладает в сознании и в жизни простых людей над делами веры¹², точно будто вера сама по себе, а жизнь сама по себе. Не раз указывалось на необхо-

димось внутреннего миссионерства, чтоб просвещать народ, еще пропитанный грубыми языческими предрассудками и суевериями. На совершенное незнакомство женщин из простого народа с самыми обыкновенными молитвами жалуются даже безграмотные крестьяне. Все это показывает, что просвещение народных масс в духе христианства еще ожидает своих деятелей. Не совершилось оно до сих пор потому, что самые ревностные христиане, жаждавшие духовного совершенства, удалялись от мира, служа только образцами святой жизни и предметами благоговения для мирян, которые носили в своем сердце жажду духовного просвещения и совершенства; для огромного же большинства, погруженного в заботы и суету ежедневной жизни, Христово учение представлялось в виде богослужения и обрядов; частое посещение церкви и строгое соблюдение священных обрядов — вот в чем представлялась этому большинству вся суть христианства. Такое по преимуществу формальное отношение к нему наших предков поражало иностранцев до того, что Флетчер, например, прямо называет нас язычниками¹³. Что мудреного, что ежедневная, будничная жизнь, предоставленная самой себе, шла нескладно и искала себе образцов и выхода к лучшим порядкам вне отечества, в чужих краях и в чужих людях? Если условием нравственного совершенствования в духе Христовом было отречение от мира, то улучшение мирских порядков и не могло совершаться иначе как помимо церкви и ее влияний: одно было естественным и необходимым последствием другого. Не подготовляемое постепенным улучшением нравов, оно совершалось скачками, посредством законодательных мер по иностранным образцам. Крутой и внезапный характер преобразований Петра, резкое противопоставление светского духовному, нравственных идеалов славянофилов общественным идеалам западников — все это лишь последствия того убеждения, всосавшегося в нашу плоть и кровь, что совершенство в христианском смысле возможно только вне мира и его соблазнов.

Такое воззрение на христианство имеет свое основание в мирозерцании древнего Востока. Отрешение от мира, умерщвление плоти, духовное созерцание как высшее благо и высшее совершенство — представлялись издавна для жителей Востока единственным исходом из бед, напастей и треволнений земной жизни. Борьба с ними, устранение их, подчинение внешних явлений человеку с помощью науки и искусства — все это не

входило в круг восточных воззрений как принцип; а так как всякий человек и всякий народ принимает истину насколько может ее вместить, то и жители Востока усвоили себе ту сторону христианства, которая была им более других доступна. Ученые и философы, преимущественно греки, обратились на изучение и разъяснение вероучения и догматов; люди, искавшие нравственного совершенства, удалялись в пустыни, очищали себя постом, молитвами и предавались духовному созерцанию.

Но христианство имеет бесчисленное множество сторон, и потому на него можно смотреть с бесчисленных точек зрения. Народы Западной Европы приступили к его принятию с другими задатками и предпосылками и потому усвоили себе преимущественно другую его сторону. Окружающая их природа несет щедрые дары только тому, кто умеет заставить ее служить себе. Уже это одно обстоятельство рано вызвало европейца на упорный труд и борьбу с окружающим, воспитало в нем убеждение, что знанием, трудом и выдержкой можно устранить вредное, воспользоваться благоприятными условиями и создать около себя среду, отвечающую нуждам, потребностям и вкусам. К такому же взгляду приводило и богатое наследство, оставшееся после греко-римского мира, принятое западными народами вначале непосредственно, самым пребыванием на классической почве, а потом сознательно усвоенное долгим изучением. Знакомство с этим миром должно было укрепить и развить в западном европейце убеждение, что не только природа, но и условия общежития могут быть приспособлены к нуждам людей, точно так же как люди могут и должны приспособиться и быть приучены к условиям правильно организованного общественного быта. Оттого западный европеец не думает покоряться данным неблагоприятным условиям или удаляться от окружающей среды, когда она не удовлетворяет его требованиям; напротив, он старается овладеть ими, покорить их себе, пересоздать по своим нуждам и вкусам. Человек с такими взглядами и привычками, приняв христианство, естественно воспользовался им как могучим орудием для расширения своих знаний, для улучшения своего публичного и частного быта, для воспитания людей. Христианство открыло западному европейцу новые, дотоле неведомые ему горизонты и пути для развития и совершенствования действительной жизни и всей обстановки человека. Вы скажете, что от таких применений христианства к условиям ежедневной жизни и житейским

нуждам помутился и померк в сознании западных европейцев божественный образ Спасителя¹⁴, который учил, что царство Его не от сего мира? С этим можно согласиться, но только с важными оговорками. Учение о духе не укладывается ни в какие формы и рамки, и потому всякие попытки уловить христианство в какие бы то ни было правила не может не исказить его; я готов идти далее и прибавлю, что, обратив все внимание исключительно на применение христианства к науке, знанию и общественному быту, западные европейцы забыли внутренний, нравственный, душевный мир человека, к которому именно и обращена евангельская проповедь. Последнее и есть, как мне кажется, ахиллесова пятка европейской цивилизации; здесь корни болезни, которая ее точит и подкапывает ее силы. Западный европеец весь отдался выработке объективных условий существования в убеждении, что в них одних скрывается тайна человеческого благополучия и совершенствования; субъективная сторона в полном пренебрежении. Но только до сих пор я иду с вами, а далее мы совершенно расходимся. Славянофилы сороковых годов, а за ними и вы, осуждая западных христиан, опустили из виду, что они, хотя и недостаточно, неправильно, представляют, однако, собою деятельную, преобразовательную сторону христианства в мире. По мысли западных европейцев, христианство призвано исправить, улучшить, обновить не только отдельного человека, но и целый быт людей, воспитать не только отшельников, но и людей, живущих в мире, среди ежедневных дрязг и соблазнов. По европейскому идеалу, христианин не должен удаляться от мира, чтоб соблюсти свою чистоту и святость, а призван жить в мире, бороться со злом и победить его. В католичестве, созданном гением романских народов, вы видите только уродливое устройство церкви по образцу светского государства, с духовным императором во главе, а в протестантизме, концепции христианства по духу германских народов, — только одностороннюю безграничную свободу индивидуальной мысли, приводящей в конце концов к атеизму; но ведь кроме папы и атеизма, Западная Европа произвела и многое другое, под несомненным влиянием христианства. Вы сами себе противоречите, преклоняясь перед европейской наукой, искусством, литературой, в которых веет тот же дух, который породил и католичество, и протестантизм. Идя последовательно, вы должны, отвергнув одно, отвергнуть и другое: середины нет — и быть не может.

III

Перехожу наконец к теоретическим основаниям всей вашей аргументации — к вашему взгляду на нравственность, ее значение и роль в человеческом обществе.

Возражая профессору Градовскому, вы отвергаете различные идеалы общественных от личных и нравственных. «Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, — спрашиваете вы, — если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной?» И продолжаете: «А нравственные идеи только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе все, все стремления, все жажды, а стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы»¹⁵. Эта мысль, которая составляет один из главных пунктов спора, кажется мне неверной.

Во-первых, нравственных идей нет, как нет общественной нравственности, вопреки мнению проф. Градовского¹⁶. Нравственное есть прежде всего — личное, известный душевный строй, склад чувств, дающие тон и направление нашим помыслам, намерениям и поступкам. Оттого и нельзя схватить и уложить нравственность в какую бы то ни было мысль, или формулу. Нравственность есть по преимуществу то, что мы называем духом. Всякий в глубине души знает, доброе он замышляет и делает или дурное. Чувство добра и зла он носит в себе. Но спросите, что такое добро, что зло — никто вам не ответит на этот вопрос. Сделайте тот же вопрос в применении к тому или другому данному помыслу, делу, предприятию, и самый темный, необразованный человек не затруднится ответом. Вы, может быть, найдете его ответ ошибочным, признаете, что он называет худым хорошее, и наоборот; но по своему чувству, по своему сознанию, он будет нравственный человек, если воздержится от намерений и поступков, которые сознает худыми. Как слагается в человеке такое неуловимое, так сказать, бесформенное чувство добра и зла, которое освещает для каждого особенным образом всякий его замысел, поступок — это другой вопрос. Дело в том, что у каждого есть такой, свой особенный, личный камертон. Кто ему верен в мыслях и поступках, тот человек нравственный, а кто неверен, непослушен ему — безнравственный¹⁷.

Совсем другое — наши понятия или идеи о том, что хорошо и что дурно. Каждая идея есть формулированная, определенная

мысль о предмете, следовательно, о том, что нам представляется как нечто вне нас существующее, объективное. Понятие о том, что добро и что дурно (я здесь говорю только о наших понятиях общественных), есть суждение, основанное на аргументах, почерпнутых не из неопределенного и бесформенного чувства, а из условий и фактов устроенного общежития с другими людьми.

Вы скажете, что и внутреннее сознание добра и зла, иначе говоря, голос совести, в конце концов, слагается под влиянием той же общественной среды? Без сомнения, и именно потому совесть древних греков-язычников иное говорила, чем совесть христиан. Содержание внутреннего сознания добра и зла и понятия о добре и зле одинаковы; но они существенно различаются между собою тем, что первое, совесть, выражает чисто непосредственное личное отношение человека к своим мыслям и поступкам, есть чувство, не укладываемое ни в какую формулу, тогда как понятие не есть уже личное, а нечто объективное, предметное, доступное всем и каждому, подлежащее обсуждению и проверке. Далее, понятие о том, что хорошо и что дурно, еще более отступает от человека, становится еще более для него предметным и внешним, когда оно обращается в обязательный закон, которому единичные лица, волей-неволей, должны подчиняться, хотя-нехотя должны соотносить с ним свои внешние действия и поступки.

Вот почему я не могу с вами согласиться, когда вы говорите о нравственных идеях, ни с проф. Градовским, когда он говорит об общественной нравственности. Нравственность, как факт чисто личный, единичного человека, исключает идею, сформулированное понятие людей. По той же причине не может быть и общественной нравственности; ибо если разуместь под этим словом, что в данном обществе наибольшая часть людей нравственны, то оно будет неточно, перенося на сумму людей то, что составляет характеристическую принадлежность отдельного человека; если же с этим выражением связать понятие о той или другой идее, которую они одинаково признают, то оно совершенно ошибочно, потому что идеи не могут быть ни нравственны, ни безнравственны; они или правильны, или неправильны. Нравственный человек тот, что в своих помыслах и поступках остается всегда верен голосу своей совести, подсказывающей ему, хороши ли они или дурны; только в отношении человека к самому себе и заключается нравственность, только в согласовании мыслей и поступков с совестью и состоит нравственная правда. Что именно совесть

подсказывает, почему она одни помыслы и поступки одобряет, другие осуждает — это уже выступает из области нравственности и определяется понятиями или идеями, которые слагаются под влиянием общественности, и потому, в разное время, при разных обстоятельствах, бывают весьма различны.

Понятия или идеи никак не следует смешивать с идеалами. Последние суть совершеннейшие умственные образцы, факт или идея, возведенные в сознании, чрез обобщение, на высшую степень. В этом смысле можно говорить и о нравственном идеале (а не идее) и об общественных идеалах. Нравственным идеалом будет всегдашнее, ежеминутное, полнейшее подчинение каждого помысла и каждого поступка голосу внутреннего сознания или совести, без малейших колебаний; в высшей степени развитая чуткость к этому голосу; выработанная упражнением до чрезвычайной тонкости чуткость самой совести и т. п. Общественных идеалов может быть множество — столько же, сколько общественных идей или формул, и каждый из идеалов будет выражать полнейшее, совершеннейшее осуществление этих формул в действительной жизни.

Пока мы не разберемся в этих понятиях, до тех пор споры наши будут продолжаться без конца и не приведут ни к чему. Мы смешиваем понятия, идеи, идеалы с нравственностью. Из этого происходит невообразимая путаница.

Во-вторых, идеи, которые вы называете нравственными, определяют взаимные отношения между собою людей в организованном общежитии, схватывают их в формулы. Эти формулы суть общие и отвлеченные, потому что имеют в виду не того или другого человека в особенности, а всех людей, человека вообще, или, если хотите, среднего человека, по одним его общим, а не индивидуальным признакам; а как только вы определите отношение среднего человека к другим, таким же средним людям в организованном общежитии, вы создаете, для действительно существующих индивидуальных людей, общественные идеи.

Вы говорите, что общественные, или гражданские идеалы (т. е. идеи) вытекают из идеи личного абсолютного самосовершенствования впереди в идеале. Оставляя в стороне указанную выше неточность выражений, я утверждаю, что нравственность и общественные идеи, идеалы личные и идеалы общественные не имеют между собою ничего общего, и что из их смешения может произойти только путаница и хаос.

Орсини, Шарлотта Кордэ были патриоты, высоконравственные люди, а Дюмолар, изнасиловавший, убивший и ограбивший множество женщин и нагнавший ужас на целый околоток, — злодей, полужверь; но все они были преступники против общественного закона и сложили свои головы на эшафоте.

Общественная идея, формулируя условия правильного сожительства людей, вовсе не берет в расчет внутреннего человека и его отношений к самому себе, а имеет дело только с внешними, наружными поступками людей и их отношениями к другим людям и общественному союзу. Внутренняя жизнь, сокровенные помыслы принимаются в расчет при формулировании общественных идей только в той мере, как они обнаруживаются во вне.

Имея дело с внешней, а не внутренней жизнью человека, общественная формула ставит правило или закон, обязательный для этой внешней стороны, и внешними же мерами и способами принуждает исполнять его, сообразоваться с ним. Из каких внутренних побуждений люди исполняют общественный закон, — до этого, с точки зрения общества, нет никому никакого дела. В душу человека общественный закон не заглядывает — и горе тому обществу, где он в нее заглядывает.

Вы думаете, что в самой нравственности заключаются уже условия общественных формул или закона? Это большая ошибка! То, что вы назовете нравственной идеей — любовь к ближнему больше самого себя, самоотвержение на пользу других, есть идея или формула общественная, потому что ею определяются наше отношение к людям в общественном быту, она есть идеал этих отношений. Нравственной стороной названных добродетелей будет только искренность, полнота, сила убеждения. Иначе вы должны назвать безнравственным фанатика, который думал служить Богу, сожигая еретиков на костре¹⁸, — фанатика, которого католическая церковь причисляет к лику святых.

Вы спросите, откуда как не из нравственных идей мог взяться идеальный характер общественных добродетелей и доблестей? На это я уже ответил выше: общественные или гражданские идеи имеют дело не с индивидуальными людьми, а со средним, отвлеченным человеком, воспроизводят не единичный факт, а общую, отвлеченную формулу фактов, которая именно потому, в применении к действительно существующим людям, и обращается в обязательный для них закон, в идеальную норму, к которой они стремятся или с которой волей-неволей должны

сообразоваться, по крайней мере, в своих внешних поступках, под страхом наказания.

Вы говорите, что «идеал гражданского устройства в обществе человеческом... есть единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков»¹⁹. Такой взгляд противоречит историческим фактам. Гражданские идеи зарождаются отнюдь не из нравственного самосовершенствования людей, а из практической, реальной необходимости устроить их сожителство в обществе так, чтоб всем и каждому из них было по возможности безопасно, спокойно, свободно и вообще хорошо жить и заниматься своим делом. Скорей я бы сказал, что общественные идеи слагаются и формулируются вследствие того, что большая или меньшая доля людей, принадлежащих к составу общества, нарушают условия правильно устроенного общежития и тем вынуждают остальных формулировать эти условия, возвести их в обязательный закон и обеспечить различными мерами, в том числе страхом наказаний, строгое и точное их соблюдение всеми и каждым. Не личное самосовершенствование, а, наоборот, разнузданность, своеволие лиц, не обращение ими внимания на пользы и нужды других возвели условия правильного общежития в общественные идеи и формулы. Утверждая противное, вы забываете, что единичные люди выросли и сложились в человеческом общежитии, а не вне его; что с тех пор, как человек себя помнит в истории, он есть член общества, хотя бы сначала только член семьи; что вне общежития с подобными себе он не способен и к личному самосовершенствованию. То, что вы называете нравственной идеей, есть плод сожителства людей, результат продолжительного его развития и выработки. Прежде чем условия правильного сожителства людей в обществе отложились, осели в совести и стали тем, что вы называете нравственным идеалом, они уже существовали в зачатке, в грубом, сыром виде, в самом факте сожителства и развившихся из него обычаях и законах. Опустив это из виду, вы говорите лишь об обществах людей, составившихся по добровольному, свободному почину, под влиянием убеждений религиозных, которые их между собою сблизили. Так действительно возникли многие общежития людей и не по одним религиозным побуждениям; но заметьте, что такие общества предполагают людей уже развитых, а развиться они могли только в обществе себе подобных, т. е. в человеческом

же общежитии. Кроме того, наималейшая доля человеческих обществ образовалась по добровольному соглашению. Огромное их большинство возникло помимо воли людей, вследствие факта сожительства на одних местах, рождения, завоевания и т. п. В них уже никоим образом нравственное самосовершенствование не могло быть основанием общественных идей; напротив, последние, выработавшись под влиянием практических потребностей общежития и обратившись в обязательный для всех закон, стали могущественным средством воспитания людей к правильному общежитию, внедрились и укрепили в них то, что вы называете нравственными идеалами. В этом я вижу новое и сильнейшее опровержение вашей мысли, будто нравственные идеи породили идеи гражданские и общественные. Напротив, условия правильного общежития, составляя насущную практическую потребность людей, живущих вместе, породили общественные идеи, а общественные идеи воспитали уже отдельных людей в нравственные личности, развили и укрепили в них чувство добра и зла. Я иду еще далее и утверждаю, что человеческие общества только в виде редкого исключения, и то одни только добровольные, могут состоять из одних лиц нравственных, живущих только по внушению совести; огромное большинство человеческих обществ, напротив, состояли, состоят и во веки веков будут состоять из небольшого числа людей, живущих по внушениям внутреннего сознания правды и неправды; масса же людей везде и всегда поступает согласно с требованиями общества и его законов по привычке или из расчета и личных выгод; наконец, всегда будет более или менее и таких людей, которых удерживает от грубых нарушений общественного закона только страх наказаний, — людей, готовых нарушить этот закон, как только представится возможность или надежда сделать это безнаказанно. Пропорции этих различных категорий людей могут изменяться, склоняясь то в ту, то в другую сторону, и их взаимное численное отношение служить мерилom хорошего или дурного состояния общественной жизни у данного общества, в данное время; но вовсе исчезнуть ни одна из них не может, потому что их существование определяется человеческою природою и чрезвычайным разнообразием лиц, входящих в состав человеческих обществ, образовавшихся не добровольно, а в силу обстоятельств и условий, действующих помимо сознания и воли²⁰.

Если так, скажете вы, то может ли быть речь о нравственности и к чему она? — допустив, что общественные идеи необходимы,

что без них обойтись нельзя, что они волей-неволей навязаны людям и водворяются, если не приняты добровольно, силою вещей и страхом наказания, надо признать, рассуждая последовательно, что нравственность совсем излишня, ни на что не пригодна. Но и этот вывод был бы совершенно ошибочен. Общественные, гражданские идеи и формулы не на воздухе висят и не с неба свалились, а родились из сожителства людей и для них служат. Помимо людей они не имеют никакого смысла, были бы чистыми отвличенностями. Живут они только в людях, а не помимо их; а раз они и не могут жить иначе как в людях, они и являются в них или как формулированное сознательное понятие, или как бесформенное чувство, голос совести. Этим объясняется необходимость нравственности. А что касается ее полезности и пригодности, то она вытекает из того, что только нравственные люди суть непосредственные, живые носители общественных идей и формул. Как только эти формулы и идеи перестают отражаться в совести — это верный признак, что наступает их конец, что они отжили свое время и должны смениться другими. Нравственные люди суть единственные бескорыстные представители общественных идей и формул в стране. Привычка ненадежный их оплот; личный расчет идет туда, где ему выгоднее, не думая об идеях и формулах: они служат ему только средством для его целей; а безнравственные люди всегда ждут минуты, когда можно сбросить с себя несносную узду общественных идей и формул. Роль нравственности в обществе ярко выяснится, если перевернуть вопрос и спросить: может ли существовать общество, состоящее только из таких людей, которые не признают общественных идей и формул, подчиняются им нехотя и готовы, при первом удобном случае, отступить от их требований? Очевидно, такое общество не может существовать, потому что в нем некому выносить на своих плечах общественный строй, осуществлять в действительности общественные идеи и формулы. Но нравственность, повторяю, не создает их, а только осуществляет и охраняет в действительной жизни. Можно быть человеком высоконравственным и стоять за идеи и формулы, отжившие свой век, неудовлетворяющие более потребностям общества, мало того, — задерживающие его дальнейшее развитие; ибо они, с изменившимися обстоятельствами и условиями, изменяются, перерождаются; а нравственный идеал всегда один и тот же и состоит в горячей, полной, искренней,

самоотверженной преданности лица добру и правде, как они отражаются в его совести.

* * *

Какой же вывод из всего сказанного? Тот, что вы не правы, утверждая, будто «общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого... нет вовсе, не существовало никогда, да и не может существовать»²¹. Говоря это, вы не доводите анализа до конца. Правильный, полный анализ приводит, мне кажется, к тому заключению, что образцовая общественная жизнь складывается из хороших общественных учреждений и из нравственно развитых людей. Оба решения вопроса, о которых я говорил в самом начале этого письма, — и верны, и неверны: они верны, дополняя друг друга; они неверны, если их противопоставить одно другому. Хорошие общественные условия воспитывают людей к добру и правде; дурные сбивают их с толку и развращают. Профессор Градовский настаивает на этом, не отвергая роли личной нравственности, и он, разумеется, совершенно прав. Без сомнения, было бы крайне односторонне думать и заботиться исключительно только о хороших учреждениях: без сильного развития нравственной стороны людей, без усвоения хороших нравственных привычек, гражданские идеалы не могут перейти в жизнь и прочно водвориться. В этом смысле я не раз ратовал за личную нравственность и ее необходимость. Но так же односторонен и ваш взгляд, будто нравственное самосовершенствование может заменить собою гражданские идеалы.

Дух Христа, принятый людьми всем сердцем, овладевший всеми их помыслами и жизнью, ставший в них высшей внутренней, нравственной правдой и чрез них живительным элементом общественных порядков и ежедневной будничной жизни, устроенных по данным опыта и выводам точного, положительного знания, — вот к чему, судя по всему ходу истории, должно рано или поздно прийти человечество. До сих пор исповедующие христианство в духе, а не на словах и в исполнении одних обрядов, или бежали от мира, или истощались в бесплодных усилиях водворить между людьми, перенося ее в закон, науку, искусство. Учение Христа может жить только в сердцах людей. Когда оно овладеет ими до того, что они будут поступать по духу Христа, не уходя в пусты-

ни, а посреди грешного, падшего, измученного мира, — тогда оно станет делом, жизнью. В этом только и может состоять новое слово, которого вы ожидаете²².

Теперь вы поймете меня вполне, почему ваш взгляд на наш простой народ — как на хранителя христианской правды, на наши образованные классы — как на отщепенцев от этой правды, на Алеко, Бельтовых, Тентетниковых и им подобных²³, как на представителей этого отщепенства и страданий, которые оно порождает, — что все это в моих глазах не выдерживает критики и есть лишь красиво, талантливо, поэтически выраженный парадокс. Не могу я признать хранителем христианской правды простой народ, внушающий мне полное участие, сочувствие и сострадание в горькой доле, которую он несет, — потому что, как только человеку из простого народа удастся выцарапаться из нужды и нажать деньгу, он тотчас же обращается в кулака, ничуть не лучше «жида», которого вы так не любите. Вглядитесь пристальнее в типы простых русских людей, которые нас так подкупают и действительно прекрасны: ведь это нравственная красота младенчествующего народа! Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устраниться от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах. «Человек смирный», «простяк» — это человек всеми уважаемый за чистоту нравов, за глубокую честность, правдивость и благочестие, но который именно потому всегда держит себя в стороне и только занимается своим личным делом: в общественных делах или в общественную должность он никуда не годится, потому что всегда молчит и всем во всем уступает. Дельцами бывают потому одни люди бойкие, смышленные, оборотливые, почти всегда нравственности сомнительной или прямо нечестные. Таких людей, как Алеко, вы считаете разорвавшими связь с народом из гордости? Помилуйте! Да это те же восточные люди, которые из «великой печали сердца» от непорядков в общественной и частной жизни или из любви к европейскому общественному и домашнему строю, бросали все и удалялись, кто за границу, кто на житье в деревню. Это те же пустынножители и обитатели скитов, те же «смирные люди» наших сел, только с другими идеалами. Будь европеец на их месте, он стал бы осуществлять, по мере возможности, свои идеалы в большом или малом круге действий, который отвела ему судьба, боролся бы, сколько хватает сил, с обстановкой, и скоро ли,

долго ли, а в конце концов перестроил бы ее на свой лад; мы же, восточные люди, бежим от жизни и ее напастей, предпочитая остаться верными нравственному идеалу во всей его полноте и не имея потребности или не умея водворить его, хотя бы отчасти, в окружающей действительности, исподволь, продолжительным, выдержанным, упорным трудом.

Стало быть, скажете вы мне, и вы тоже мечтаете о том, чтоб мы стали европейцами? — Я мечтаю, отвечу я вам, только о том, чтоб мы перестали говорить о нравственной, душевной, христианской правде и начали поступать, действовать, жить по этой правде! Чрез это мы не обратимся в европейцев, но перестанем быть восточными людьми и будем в самом деле тем, что мы есть по природе, — русскими.

